

*Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.*

*...*

*Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?*

*Б. Пастернак*



Ольга Ивинская  
Ирина Емельянова

«Свеча  
горела...»

**Годы  
с Борисом  
Пастернаком**

УДК 82-94

ББК 70-79

И25

На обложке:

Борис Пастернак (World History Archive/East News)

Ольга Ивинская, Борис Пастернак и Ирина Емельянова (Из личного архива И. Емельяновой)

Фотографии из личного архива И. Емельяновой

Дизайн и верстка – Андрей Архутик

**Ивинская, Ольга; Емельянова, Ирина**

И25 **«Свеча горела...»: Годы с Борисом Пастернаком.** – М.: Этерна, 2016. –  
– 560 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00236-2

Книга воспоминаний Ольги Ивинской (1912–1995) и ее дочери Ирины Емельяновой о Б. Л. Пастернаке. Ольга Ивинская – последняя любовь поэта, адресат его поздней лирики, во многом именно с ней связан образ Лары из романа «Доктор Живаго».

Для широкого круга читателей.

УДК 82-94

ББК 70-79

© О.В. Ивинская (наследники), 2016

© И.И. Емельянова, текст, фотографии, 2016

© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2016

ISBN 978-5-480-00236-2

## «А может, я лишь почва для романа?»

Об авторе этих воспоминаний

*В* известной статье о Шопене, где Пастернак дает свое понимание реализма, он говорит о том, что «движущей силой художника, толкающей его на новаторство и оригинальность, является глубина биографического отпечатка. Всегда перед глазами души, — пишет он, — есть какая-то модель, к которой надо приблизиться, совершенствуясь и отбирая». Правда, для читателя едва ли важно, кто именно был этой моделью и чей «отпечаток» остался в книгах поэта. И «Марбург», и «Метель», и «Баллады» существуют и будут существовать без связи с далекими тенями их героинь. Однако по мере того как сама жизнь автора превращается в легенду, становятся мифами и они, его музы, и простое чувство благодарности заставляет нас вспомнить о них, расшифровать эти криптограммы, воздать должное его спутницам, прекрасным «эгериям» (то есть «вдохновительницам» по-гречески).

Каждый читатель рисует их себе, наверное, по-своему. Вот «Сестра моя — жизнь»... Для меня, например, героиня этой книги (Елена Александровна Виноград-Дороднова) дорога тем, что внесла в его поэзию дыхание города, открытого пространства, на которое он вырвался из узких улиц Марбурга, или «коробки с красным померанцем» в Лебяжьем переулке, пространства подстав-

*«Света горела...»*

Годы с Борисом Пастернаком



*Борис Пастернак с женой  
Евгенией Владимировной Лурье  
и сыном Женей, 1924.  
Фото И. Наппельбаум*

ленной прямо небу земли, прежде всего — Москвы, с ее посадками, «куда ни одна нога не ступала»... Это их прогулки по ночной Москве, «Нескучный сад», «Воробьевы горы», московские вокзалы, Камышинская ветка... Как Атлантида, всплывает Город, когда наугад открываешь эту книгу.

Евгения Владимировна Лурье, художница, вошла в его жизнь и стихи на волне живописи; ее тонкие, изящные рисунки говорят о том строе души, который тоже стал для поэта на какое-то время моделью, к ней он «приближался», и для нас, далеких читателей, оста-

лись навечным подарком и «Художница пачкала красками траву», и «Существованья ткань сквозная», и «Стихи мои, бегом, бегом»...

Зинаида Николаевна Нейгауз, героиня «Второго рождения», ворвалась в его жизнь вместе с музыкой: ее музыкальное окружение, ее собственное музицирование, концерты Г. Нейгауза — были бурным, страстным, порой трагическим фоном их вспыхнувшей любви. Недаром их обручение состоялось в консерватории на похоронах Ф. Blumenфельда («Упрек не успел потускнеть... скончался большой музыкант, твой идол и родич»). И хотя потом эти страсти сменились торжеством Дома, Очага, Уюта, для нас, читателей, именно с З.Н. Нейгауз навеки связана и «Шопена траурная фраза», и «ослепляющая попытка», которой она «расправляла крылья», «касаясь до клавиш».

По вполне понятным причинам я лично никогда не знала Зинаиду Николаевну. Но в моем воображении она всегда пред-



*Борис Пастернак с женой  
Зинаидой Николаевной Нейгауз  
и сыном Леней.  
Переделкино, 1946*

ставала такой Софьей Андреевной, которой, после прочтения ее дневников, я страстно сочувствовала, женщиной, принесшей и свой темперамент, и талант в жертву мужу, дому. Ведь и посещение больных баб в Ясной Поляне, и компрессы маленьким детям, и муравьиное переписывание текстов великого мужа чередовались с балладами Шопена, с Моцартом, с игрой с Левочкой в четыре руки. Она тоже была отличная музыкантша, как часто в ее дневнике встречаешь: «Чтобы успокоиться, играла с утра 3 часа...»

Как знаменательно и неслучайно то, что появление новой «эгерии» и, следовательно, новой книги сопровождалось крахом старого и рождением нового духовного опыта, обрушивающимся огромным пластом несбывшихся надежд, тем, что называется творческим и личным кризисом.

Надо ли говорить, каким обвалом было лето 1917 года, которым помечена «Сестра моя — жизнь», когда выход в пространство города сопровождался митингом площадей и деревьев, и «Книга степи» читается как Книга Бытия.

Или мучительный кризис 1930-х годов, когда чаемая новая жизнь обернулась идеологическим удушьем, пошлой и подлой грызней в РАППе, раскатами очевидно приближающегося террора. Кульминацией этого кризиса было для Пастернака самоубийство Маяковского, и последняя часть «Охранной грамоты» написана им уже о себе самом. «Значит, это не рождение? Значит, это смерть?» И в многочисленных письмах этого года — родителям, сестре, друзьям — он пишет о своей смерти, о конце, «либо полном физическом, либо частичном и естественном, либо же, наконец, невольно-условном» (письмо сестре Лидии 1930 года).

Но не исчерпан был еще световой ливень, дарованный ему природой, и новая попытка «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», сформулированная в знаменитых «Стансах», на какое-то время удалась. Удалась благодаря З.Н. Нейгауз и той стихии жизни в ее повседневном, земном обаянии, которое она



воплощала. Ожидаемая смерть обернулась «Вторым рождением», «Волнами», началом романа «Доктор Живаго», тем, что принято называть творческим подъемом.

Разумеется, этот подъем не мог быть продолжителен. Поразительно, что он вообще был. Когда погружаешься во все эти «дискуссии о формализме», стенограммы верноподданнических съездов и постановлений с их ужасающим маразмом, читаешь «осаживания» в прессе бывших друзей, — полное крови и жизни слово Пастернака кажется чудом. Ведь образовалось абсолютно бескислородное пространство, в котором, как ни страшно, только война явилась очистительным глотком свежего воздуха. Но война кончилась, и кончились появившиеся благодаря ей иллюзии. В записках 1956 года, сохранившихся в нашем архиве, есть такие слова: «Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз».

Его полная экстерриториальность в советском обществе, невозможность печататься и общаться с читателями, предчувствие наступающего опять террора — все это вело к новой смерти, к новому кризису, и нужна была вспышка нового чувства, тот самый «резкий и счастливый» (его слова) личный отпечаток, о необходимости которого говорил он в своей статье о Шопене. Таким отпечатком, вернее «нарезом по сердцу», явилась встреча с Ольгой Всеволодовной Ивинской в 1946 году в редакции «Нового мира». Мама часто рассказывала (а поскольку это была первая встреча, все немногие слова запомнились текстуально), каким был их первый разговор. Секретарь редакции, немолодая литературная дама, подвела к вошедшему в комнату (узнать о судьбе своего романа «Мальчики и девочки», будущего «Доктора Живаго») смущавшу-

юся молодую женщину и сказала: «Борис Леонидович, я хочу познакомиться вас с одной из ваших горячих поклонниц!»

На что Б.Л. отозвался по-светски любезно, но и с несомненной горечью: «Как странно, что у меня еще остались поклонницы!»

Это не было пустым светским отшучиванием. Конец сороковых годов действительно становился духовным вакуумом. О каких поклонницах можно было говорить после ждановского постановления о Зощенко и Ахматовой? Начинался новый виток идеологических репрессий, и к Пастернаку было приковано внимание партийных верхов, от него требовалось покаяние. Ивинская стала для него не просто любовным увлечением, но и драгоценным читателем, благодарным откликом, человеком, для которого главным в жизни была поэзия. Это во многом черта ее поколения. Будучи моложе своих предшественниц, она не присутствовала при создании любимых текстов, она получила их уже в книгах, она ими бредила, писала в ответ свои, в школьной тетрадке: «Облака пастернаковской прозы / Как урок у меня на столе».

Ни живопись, ни музыка — той волной, что ее прибила к нему, были стихи. Живописи она не понимала, в музеи не ходила, музыка тоже не культивировалась у нас в доме. Помню, она рассказывала, как старалась разделить переживания Б.Л. на каком-то концерте в консерватории, но тщетно, он все понял и прислал ей записочку: «Не кажется ли Вам, что наше сидение здесь — нелепость?» И они ушли.

\* \* \*

Наш дом был полон стихами. Читали все — ее приятели-поэты, засиживающиеся за полночь за чаем, дед — школьный учитель, молившийся на Некрасова, мы с братом, маленькие, поставленные на стул, для гостей: «Печальный Демон, дух изгнания...» Стихи были и комментарием к жизни, и содержанием ее. Тогдашняя жизнь, полунищная, порой путаная, всегда «на волоске»,

искала свой прообраз, почву, опору. «Виртуальная реальность», как сказали бы теперь, торжествовала.

Под новый, 1947 год под маленькой елкой, среди апельсинов и солдатиков мы с братом нашли и подарок от мамы. Это был однотомник Лермонтова, довольно некрасивый серый фолиант, да и бумага желтая, сухая. А на первой странице, косым карандашом, ее надпись: «Ребята! Ира и Митя! Любите стихи! Это — самое лучшее». Таково было ее завещание (ее вскоре арестовали), ее образок нам на шею.

Ее поколение как бы предчувствовало, что язык скоро и надолго останется единственной связью с живой жизнью, и, как губка в присосках, впитывало, вбирало в себя то, что не отнимется ни при каком обыске, — поэтическое слово. Помните Евгению Гинзбург, на пересылке в бане читающую «Онегина»? Или Шаламова, выламывающего кайлом камень, чтобы раздробить себе ногу, под строки Мандельштама («Дождь»)? О слове-спасителе написано уже так много, но не исчерпать нашей к нему благодарности. Поэт уже другого поколения, Вадим Козовой написал: «Спасибо за чужое слово. Без него я бы пропал навек. Поэтическая корова, спасибо за твои сосцы».

Мама была такой «губкой в присосках» — сколько она знала стихов наизусть! Она прекрасно читала — в немного старомодной мелодраматической манере, но восторг перед чудом слова звенел в ее голосе и захватывал. «Скажи мне, кудесник, любимец богов...» — и это мог написать человек? Это дыхание, эти крылья, медленно поднимающиеся в воздух? «Волхвы не боятся могучих владык...» Дух захватывало.

У этого поколения было много кумиров. Может быть, слишком много. Те, чья молодость пришлась на тридцатые годы, в своих походных сумках носили не только классику. Там были и Тихонов, Сельвинский, Пастернак, и Уткин, и Багрицкий, и Тарковский, и Смеляков, и Симонов...

Но для меня эта всеядность — отнюдь не недостаток. У них была открытость неофитов, энтузиазм первопроходцев, никакой «закрытости ордена» — наоборот, готовность принять новый талант, расхвалить, обласкать. И что запомнилось — никогда не высмеивалась неудачная строка, наоборот, повторялась, смаковалась эффектная фраза. Ведь и у маленьких поэтов есть крупные удачи!

Стихи пронизывали «ткань существования», и впрямь нельзя было понять, где напорочили стихи, а где жизнь собирает материал для будущих поэм. Как точно сказано об этом у Пастернака: «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг...»

Надо признать, что в мамином поэтическом пантеоне все-таки существовала иерархия. Королем этой державы, как почти у всего ее поколения, был Блок. Блок был наваждением, страстью, она рассказывала, что видела сны, в которых Блок указывал ей, какую страницу открыть, какую строку прочесть. Она говорила мне, что разминулась с ним в жизни. Уже перед смертью просила погадать на томе Блока, и вышло:

Чем ночь прошедшая сияла,  
Чем настоящая зовет, —  
Всего лишь продолженье бала,  
Из света в сумрак переход.

Летом **1956** года Б.Л., приходя в маленькую комнату, которую мама снимала недалеко от Переделкина, часто натыкался на лежащий у ее изголовья алконостовский том. Может, из этого общего их восхищенья и родились в этот год его «Четыре отрывка о Блоке»?

Блок, Анненский, Ахматова, Пастернак...

Когда весной **1953** года после своего первого заключения мама вернулась из мордовского лагеря в Москву, она привезла мне из Потьмы еще один подарок. Это была школьная затрепанная те-

традка, куда она по памяти, полупечатными буквами, переписала любимые стихи Ахматовой. Настоящей книжки Ахматовой у нас в доме не было — «Белая стая» с дарственной надписью «Дорогой О.В.» была конфискована во время ее ареста и сожжена как вещественное доказательство «антисоветских настроений». К 65-летию Ахматовой мы с мамой послали ей в Ленинград телеграмму: «Ваше рождение — наш общий и вечный праздник». Как больно, что Анна Андреевна разделила мнение завистников и недоброжелателей о бедной О.В. и, по словам Л. Чуковской, сурово ее осудила!

И вот Пастернак, живое божество. Помню рассказы о вечерах поэзии, где она, студентка литкурсов, ловила каждое слово гения, приткнувшись на ступеньках Политехнического (зал всегда был переполнен), писала робкие записки, поджидала на лестнице... А после войны — личная встреча, перевернувшая жизнь, о которой она столько раз говорила его же словами: «О куда мне бежать от шагов моего божества!»

Б. Л. Пастернак стал ее возлюбленным, но при этом он всегда, и прежде всего, оставался любимым, боготворимым поэтом («Разбудите меня ночью... С любого места, любое стихотворение!»). Он стал центром и ее женской, и духовной жизни. На все ложились его стихи. Даже о мелочах говорилось его словами («Мы вспомним закупку припасов и круп», «Скажи, тут верно год полов не мыли?»). А уж если вспоминать роковые минуты жизни, а на них судьба была щедра, все они «шли» под его стихи. Во время суда в ожидании приговора мама поворачивается ко мне: «Ирка! Недра шахт вдоль нерчинского тракта! Каторга! Какая благодать!»

Промытарив ее по всем возможным колеям, жизнь в конце концов явила и высшую свою справедливость. Созданная самой природой, чтобы быть «строчкой из цикла», музой, эгерией, — красивая, влюбленная в стихи, с растрепанной золотой косой, открытая и людям и судьбе — она ею и стала. Мало какой женщины можно подвести такой итог:

Ты — благо гибельного шага,  
Когда житье тошней недуга.  
А корень красоты — отвага,  
И это тянет нас друг к другу.

\* \* \*

О.В. Ивинская стала адресатом поздней лирики Пастернака. «Разлука», «Свидание», «Осень», «Август», «Сказка», «Недотрога» — многие стихи позднего Пастернака навеяны этой любовью.

Это — последняя любовь, со всеми красками осеннего, предзакатного чувства. В них и сознание близкой смерти, и неизбежности разлуки, сознание обреченности, «незаконности» этой любви. На этот раз муза — «девочка из другого круга», она вне устоявшегося уклада семейных и официальных отношений. Отсюда такая щемящая грусть этой лирики: «Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина! Я — поле твоего сражения!» «Одна, средь снегопада» («Свидание») стоит она на углу, и встречается герой с ней лишь, когда «разъедутся домашние».

1946 год — год их встречи. В этом году написано стихотворение «Свеча горела» — ставшее песней, мифом, может быть, самым знаменитым текстом о любви в русской поэзии XX века. В нем — трепетность и обреченность, утаенность любовного пламени среди метели жестокого мира.

«Свеча горела» — одно из первоначальных названий романа «Доктор Живаго», который Пастернак начал писать задолго до встречи с О.В. Заканчивал он его в 1956 году, когда их отношения, пройдя чреду тяжелейших испытаний, стали прочной и душевной, и жизненной связью. И Лара, героиня романа, во многом становится похожа на маму. Не говоря уже о внешности героини, ее судьба (особенно конец) в чем-то повторяет судьбу О.В.

Конечно, такие сопоставления очень приблизительны. Человек чрезвычайно естественный, мама сторонилась такого примитивного отождествления, всегда морщилась: «Господи, ну

что они — Лара, Лара (с ударением на последнем слоге, как говорили иностранцы). И Пастернака-то не читали, одна Лара от всего осталась».

Каждому хоть немного знакомому с психологией творчества понятно, сколько разных впечатлений впитывает поэтическая губка, сколько надо «перетолочь Сонь и Тань», чтобы получилась Наташа Ростова, и сколько женских встреч отразилось в образе Ларисы Гишар из романа. Здесь и царственно что-то всегда стирающая, глядящая сестра Антипова (З.Н. Нейгауз), даже свои коромысла несущая, как королева, и более ранние впечатления поэта, и, наконец, «девочка из другого круга», жалостливая, беспыльная, нерасчетливая и беззащитная. Но для меня ясно одно. Не будь ее трагической судьбы, не будь этой любви последних лет, роман остался бы «картинами полувекового обихода», подернутыми патиной старомодности, с женской историей а-ля Мопассан, несмотря на пронзительную красоту языка, разбросанные повсюду «цукатины» (слова Б.Л.) — глубокие и тонкие суждения о времени, христианстве, искусстве, истории. То есть весь роман был бы как его первая часть. И только живая страсть, одухотворенная состраданием, чувством вины и жалости, то есть то, что все это: и любовь, и тюрьма, и верность, и даже мертвый ребенок — было в жизни и вдохнуло во вторую часть романа пастернаковскую неповторимую достоверность — патина сорвана, окно распахнуто, мы дышим и задыхаемся, как умирающий на трамвайной остановке доктор; герои романа стали нашими современниками и останутся таковыми для читателей будущего. «Тайная струя страданья» согрела эти страницы, и они ожили.

\* \* \*

Ольга Всеволодовна Ивинская родилась в 1912 году в Тамбове. Матери ее Марии Николаевне Демченко, красавице, приехавшей в Москву с Украины учиться на курсы Герье, было в ту пору 22 года. Отец — Ивинский Всеволод Федорович, родом из Там-



*Мария Николаевна Демченко-Ивинская.  
Тамбов, 1910*

бова, в ту пору студент «естественного» факультета Московского университета. Семья в Тамбове была известная и богатая. Четыре брата и мать, по происхождению ревельская немка, Амалия Карловна, ставшая в России Амалией Ивановной. Тамбовское детство было коротким, брак с Всеволодом — непродолжителен. В Гражданскую войну след его затерялся.

В двадцатые годы семья (бабушка вновь вышла замуж) жила в Серебряном Бору, в Покровском-Стрешневе. Был небольшой дом, бабушка даже держала козу, прослав — за свою красоту — местной Эсмеральдой. Ее новый муж, Дмитрий Иванович Костко, наш



впоследствии горячо любимый дед, работал на железнодорожном узле Курской железной дороги. Он был сыном священника, скрывал свое происхождение, чтобы иметь возможность преподавать, но при каждой «чистке кадров» из школы его изгоняли. А как любили его ученики!

Мама училась в средней школе в Серебряном Бору, куда ходили через лес; рано возникшая страстная любовь к литературе (да и дед по профессии — «учитель словесности»), школьные кружки, влюбленности, дружбы, летние посиделки в саду...

На филологический факультет ее не приняли из-за происхождения (из «служащих», а надо из «рабочих»), но приняли на биологический, где она проучилась год. Затем перевелась на высшие литературные курсы, ставшие впоследствии РИИНОм — редакционно-издательским институтом, влившимся потом в МГУ, который она и закончила.



*Всеволод Федорович Ивинский,  
тамбовский дворянин,  
студент-«естественник»  
Московского университета*



*Ольга с матерью.  
Тамбов, 1915*

В этом же году — 1930-м — произошел переезд в Москву в Потаповский переулок (б. Большой Успенский). Там построили первые советские кооперативы: переехали в маленькую трехкомнатную квартирку, и эта квартира скоро стала легендарным местом, где собирались поэты-соученики, где родились дети, где были и аресты, и обыски, и самоубийства, куда через много лет приезжали освобождающиеся из лагерей друзья, куда приходили и Б.Л. Пастернак, и А.С. Эфрон, и В.Т. Шаламов, и многие, многие, чьи имена составляли культурный воздух эпохи.

В Потаповском переулке собиралась студенческая компания, как вспоминала бабушка, «ночи напролет завывавшая стихи». Пастернак был божеством, кумиром этого поколения. Среди книг, которые я подарила моему дорогому дому-музею Марины Цветаевой, есть однотомник Пастернака, буквально зачитанный до дыр, до желтых пятен, замусоленный, – «Стихотворения в одном томе», издание 1933 года; видимо, мама с ним спала, обедала, ездила в трамвае. Загнутые углы страниц, трогательные восклицательные знаки на полях, смешные пометки типа: «Только ты так можешь!», «Кто может еще так сказать?» и прочее... Вот такие были читатели. Причем на «ты», как к Богу.

После окончания института О. Ивинская проходила литературную практику в редакциях разных журналов. Сначала в некоем «ЗОТе» («За овладение техникой»), где знакомится с В. Шаламовым. Пишет очерки: «За вкусный обед», «Рождение косолапого мишки», «Молочная жила» и другие. Шаламов читает ей свои стихи и прозу, ценит ее мнение, даже берет к какому-то своему стихотворению эпиграф из ее поэмы: «Он по-новому сердце предскажет». От этого журнала ее посылают в командировку в Джаркент (строится Турксиб), она пишет очерки о строителях.

В предвоенные годы она два раза выходит замуж, оба брака трагически обрываются. Их нельзя назвать удачными –



*Д.И. Костко, второй муж  
Марии Николаевны*

*«Света горела...»*

Годы с Борисом Пастернаком



*Потаповский переулок.  
Легендарный дом 9/11*

это был классический «мезальянс». Первый муж – И.В. Емельянов, мой отец, из крестьянской семьи из-под Ачинска, в 1939 году кончает жизнь самоубийством. Можно только догадываться (он не оставил дневников), что к самоубийству Емельянова привела не только личная драма (мама хотела уйти от него и забрать ребенка), но и разлад со временем, который ему, коммунисту-идеалисту, видимо, дорого стоил. Второй – А.П. Виноградов, отец брата – из деревни Светлые Ключи Владимирской области, работал главным редактором журнала «Самолет», где мама с ним и позна-

комилась. Он внезапно умирает в самом начале войны, оставив ее с двумя маленькими детьми на руках.

Бабушка в это время находится в лагере — арестована в начале 1941 года за анекдот о Сталине (в компании рассказала анекдот: «— Как вы относитесь к советской власти? — Как к своей жене — немного люблю, немного боюсь, немного хочу другую»). Дед, в очередной раз выгнанный из школы, сапожничает в крохотной кухне — как мы выжили? Выкапывали забытую картошку на огородах, меляли полотенца на муку, мама была донором — сдавала кровь и кормила противотифозных вшей — для сыворотки.

Вот фотография 1943 года, дед — инструктор «сапожного дела», измученная женщина (а ей всего 30 лет!) — донор, иначе было не выжить. На обороте этой чудом сохранившейся фотографии надпись: «Дорогой бабушке, маме, жене от любящих ее детей



*Д.И. Костко, Ольга Ивинская  
с дочерью Ириной, 1943*





*Иван Васильевич Емельянов,  
первый муж Ольги.  
В начале 1930-х годов –  
директор школы рабочей молодежи*



*Александр Петрович Виноградов,  
второй муж Ольги.  
Конец 1930-х годов*

и мужа». Фотография была послана бабушке в лагерь, в Сухобезводное, где она тогда находилась.

После этих страшных лет жизнь постепенно входит в нормальную колею. Ивинская поступает работать в журнал «Новый мир» в отдел работы с начинающими авторами. В редакции этого журнала она встречается с Пастернаком, начинается их роман, любовь, продолжающаяся до самой смерти поэта в 1960 году.

Осенью 1949 года ее первый раз арестовывают по статье 58-10 («Антисоветская агитация и пропаганда»), приговаривают к пяти годам лагерей.

Читаем в ее книге: «Когда в восемь вечера оборвалась моя жизнь – в комнату вошли чужие люди, чтобы меня увести, – в машинке осталось неоконченное стихотворение:

...Играй во всю клавиатуру боли,  
И совесть пусть тебя не укорит,  
За то, что я, совсем не зная роли,  
Играю всех Джульетт и Маргарит...

За то, что я не помню даже лица  
Прошедших до тебя. С рожденья — все твое.  
А ты мне дважды отворял темницу  
И все ж меня не вывел из нее.

Москва 6.X.49»

Стихи мама писала всю жизнь. Писала — как дышала. Но никогда их не собирала, не хотела издавать, писала сразу, набело, не откладывая для доработки, не берегла, теряла... Они — как рука, протянутая за помощью к тем, кто не изменит. В них жизнь и поэзия не мыслят себя врозь.



*Ольга Ивинская в юности*

Тоненькую папку с делом Ольги Ивинской я прочла в 1992 году. Припомнили и отца-белогвардейца, и мать, арестованную за «антисоветскую агитацию и пропаганду», но главной целью ее ареста (что бы ни говорили недоброжелатели) было, конечно, собрать досье на Пастернака, все допросы вертелись вокруг него, его «изменнических настроений».

Когда 6 октября 1949 года ее увезли на Лубянку, решалась и наша судьба, двух маленьких детей, официально оставших-

ся сиротами. Мы знали, что таких малышей забирали в детский дом. Как сумела бабушка отстоять нас в эту ночь? Ведь после маминого ареста мы остались на руках стариков. Но Б.Л. не оставил нас. Скольких он спасал, как каторжный трудясь над переводами, добывая деньги, сам вися на волоске в те страшные годы, сколько людей обязаны ему просто жизнью! А его письмо 1952 года, написанное сразу после инфаркта, в коридоре Боткинской больницы, неровным почерком, с указанием, где и как достать для нас немного денег, до конца жизни останется для меня примером христианского подвига в век «изрытых оспой Калигул».

Судьба героини романа «Доктор Живаго» во многом повторяет судьбу мамы. Ее, как все помнят, в один прекрасный день арестовывают прямо на улице, она гибнет в лагерях.

По счастью, это пророчество сбылось не полностью, мама вернулась, освободившись в 1953 году по амнистии, близость с Пастернаком продолжалась до его смерти, еще семь лет, бурных, трудных, но счастливых.

Б.Л. сам руководит ее возвращением в литературную жизнь — он приводит ее в Гослитиздат, в редакцию литературы народов СССР, который возглавляет его верная почитательница А. Рябинина. Она охотно дает маме работу: «Эшелоны непереуведенной поэзии братских республик» — ее слова. Мама начинает активнейшую переводческую деятельность. Б.Л. дает ей первые уроки стихотворного перевода и скоро, восхищенный талантом ученицы, пускает в самостоятельное плавание. Мама работает как муравей; день и ночь стучит на машинке, переводы удаются, поступают новые заказы, завязываются контакты с авторами. Сколько она успела сделать за короткие семь лет междулагерной передышки, своей свободы! Одна библиография ее переводов занимает двадцать страниц убористого шрифта.

В августе 1960 года, через два месяца после смерти Б.Л., ее арестовывают второй раз, приговаривают к восьми годам лаге-





*Борис Пастернак  
с Ольгой Ивинской и Ириной.  
Переделкино, 1958*

рей. Она снова в Мордовии, позади — смерть любимого человека, разоренный дом (конфискация имущества по приговору суда), впереди — восемь лет за колючей проволокой, суровых зим, тяжелого физического труда под конвоем, старость... Вот одно из самых пронзительных стихотворений Ольги Ивинской этого тяжелейшего для нее периода. У нее тоже есть своя «Метель»...

### **Метель**

*Мело, мело по всей земле,  
Во все пределы...  
Б. Пастернак*

Я люблю, когда в мире метель  
И ко мне ты приходишь с погоста,  
Словно это обычно и просто.  
Неживым притворяться тебе ль?

Я люблю, когда в мире метель,  
И я вижу твой профиль орлиный,  
Молодые глаза и седины.  
Теплых губ твоих чувствую хмель.

Я люблю, когда в мире метель,  
В белой мгле не отыщешь дорогу,  
Словно это усталому богу  
На земле расстелили постель.

Я люблю, когда в мире метель,  
Когда спутаны в небе созвездья,  
Нету тропок, машины не ездят,  
Только с неба ползет канитель...

Я люблю, когда в мире метель,  
Когда хлопья валяются без толку,  
Словно кто-то вверху втихомолку  
Украшает огромную ель.

Я люблю, когда в мире метель,  
Как любил ты рождественский гомон  
И уют деревенского дома,  
Где несло через каждую щель.

Я люблю, когда в мире метель,  
Светят свечи сквозь белые нити,  
Когда спутаны в жизни события  
Дальних лет и ближайших недель.

Я люблю, когда в мире метель,  
И с тобою мы так же, как прежде,  
Поддаемся неверной надежде  
Кораблей, обреченных на мель.

Я люблю, когда в мире метель,  
Что ты сделал вселенской забавой,  
Все заслоны крамольною славой,  
Словно ветром, сорвавши с петель.

Я люблю, когда в мире метель...  
Мы с тобой тогда ходим по пруду,  
И в снегах, навалившихся грудой,  
Неживым притворяться – тебе ль?

Когда нас с ней, арестованных уже после смерти Б.Л., долго мытарили по разным пересылкам необъятной родины, из Москвы в Тайшет (Сибирь), оттуда через Казань – в Мордовию, кажется,

это был 14-й лагпункт, еще не наша конечная цель, но уже близко. Мы стоим с мешками, в бушлатах, в платках, около вахты, «принимает этап» начальник «подразделения» Юрков, красивый полнолицый мордвин. Он открывает наши «дела» – имя, инициалы полностью... И вдруг оживляется: «Ого, Ивинская пожаловала! Не понравилось на воле? Обратно захотела?» Мама оцепенела. Оказывается, в 1953 году она освобождалась именно из этой зоны, и освобождал ее этот Юрков. И она как-то медленно, чуть ли не по слогам, произнесла: «Господи! Я целую жизнь прожила, а вы всё здесь...»

В 1964 году под давлением мировой общественности Ивинская освобождена из лагеря. Она живет в Москве, пишет книгу воспоминаний о Пастернаке «В плену времени», которая выходит сначала на Западе и только после перестройки — в России. Она дожила до перестройки, до краха коммунизма. Человек до конца своих дней живой, полный юмора, обаяния, поэзии, она привлекала к себе многих — среди ее друзей были и артисты, и поэты, и художники. Рассказы ее были всегда полны смешных деталей, даже о страшном она говорила всегда без злобы. Как жаль, что это все не записывалось, как и основная масса ее стихов.

Умерла 8 сентября 1995 года в Москве, похоронена на переделкинском кладбище, в двух поворотах дорожки от могилы Пастернака под тремя (ныне, увы, уже двумя) соснами.

И это уже встреча нездешняя, она там, где можно наконец спросить:

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

Ирина Емельянова  
1998–2015

Ольга Ивинская

# В плену времени



Пройдут времена, много великих времен. Меня тогда уже не будет. Не произойдет возврат ко времени отцов и дедов, что, впрочем, не является ни необходимым, ни желательным. Но наконец снова объявится так долго таившееся благородное, творческое и великое. То будет время итогов. Жизнь ваша будет как никогда богата и плодотворна.

Вспомните тогда обо мне.

Борис Пастернак

(Перевод с немецкого; факсимиле оригинала воспроизведено в книге Герда Руте «Пастернак», Мюнхен, 1958, с. 125)

В 1972–1976 годах я написала книгу, которую вы прочтете. Ее название – перефразированная строка пастернаковского стихотворения: ... *у времени в плену*. Он знал, что когда минется время, его поэзия останется, и из плена времени она прозвучит в грядущем, как звучат в наши дни строфы Пушкина...

Я любила Б.Л., и не могу обманываться в том, что была ему необходима, и благодарна судьбе за мое место рядом с ним в его плену Времени.

Ольга Ивинская

1976–1992

## ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

**В** октябре сорок шестого года редакция «Нового мира» переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа «Известий». Когда-то в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.

Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич, чугунный, еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра «Россия». Этого стеклянного дворца еще не было совсем.

Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж за окнами (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы в Путинках, вылезаящую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов – мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое «С тобой и без тебя», – красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.

Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же – завывы – пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подружка, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы еще по старому зданию. Жизнь шла, даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой, тонколицый и белокурый мальчик – Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и, как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж – психиатр Рогинский – спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: «Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника». С ней мы делились и сердечными секретами.

Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил причесанный на косой пробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он изменился после своих лагерей. Сюда вошел после газетной шумихи, в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный, с темными подглазинами Зоценко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы не сразу доложили о его приходе! Оказалось, впрочем, что эта «смелость» была санкционирована свыше.



Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.

– Боже мой, – загудел Борис Леонидович, – этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зоценко. – Все вдруг потупились, будто не слышали его слов. <...>

О стихах говорили целый день – то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Много еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Придя в журнал, Симонов мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.

В самом начале симоновского «правления» секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты дивные черные глаза и длинную шею (за которую мы невежливо прозвали ее змеищей), сделала мне подарок – билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела с довоенных лет. За полночь, помню, вернувшись, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь: «Я сейчас с Богом разговаривала, оставь меня!»

Она махнула рукой и пошла спать. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной.

В первый раз, пожалуй, я видела Пастернака близко.

Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он разговаривал с за-

лом как с личным своим собеседником и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливицы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.

До встречи в редакции «Нового мира» я видела Пастернака считаное число раз. Интересно, когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале «Смена», были приглашены приехавшим в Москву грузинским писателем Константином Гамсахурдией в его номер в «Метрополе», я сбежала оттуда, услышав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала как девчонка, а со мной заодно Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Проводив меня до дому, те, конечно, вернулись в «Метрополь».

\* \* \*

<...> Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком «Избранном». Это было несообразно удлинненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами.

Вообще, нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова, вошел в редакцию «Нового мира».



Первая подаренная  
фотография

*«Света горела...»*  
Годы с Борисом Пастернаком



*Борис Пастернак, 1942.  
Чистополь, эвакуация.  
Фото В. Авдеева*

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрянца, мужчины, вождя. Сразу можно поверить – если целовал, то «губ своих медью». Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, а вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.

Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.

В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии, на свою позднюю наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю жизнь безобразии.

Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим новым зубным протезом – вроде всегда так было – и, может, чуть позируя перед собою и мной, он не один раз повторял: «Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!»

А сам между тем не верил, что поздно!

Но тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной,

четкой скульптурностью – причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами под летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.

А я стояла у окна – мы с Наташей собирались идти обедать.

Зинаида Николаевна, кокетливо выгибая руку для поцелуя, сказала:

– Я, Борис Леонидович, сейчас познакомлю вас с одной из горячих ваших поклонниц, – и что-то еще в этом духе.

И вот он возле моего столика у окна – тот самый щедрый человек на свете, кому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости.

Пошел колкий и мелкий октябрьский снег. Я куталась в свою довоенную беличью шубу. В комнате было холодно.

Б.Л. наклонился над моей рукой и спросил, какие его книги у меня есть. А у меня был только один большой сборник, на котором рукой литературного критика еще «щербинских» времен Бориса Соловьева было написано: «Люсе от Бориса, но не любимого, не автора этой книги...»

И я ответила Борису Леонидовичу, что у меня есть лишь одна книга.

Он удивился:

– Ну я вам достану, хотя книги почти все розданы! Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побро-



*В квартире в Лаврушинском переулке, 1948.  
Фото Л. Горнунга*





*Ольга Ивинская,  
конец 1940-х годов*

дить по старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать.

И, помню, слегка смущенно добавил:

– Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы.

Предвиденье, безусловно, существует, и не просто обещанием каких-то больших перемен – я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога.

Это был такой требовательный, такой оцениваю-

щий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо.

Вернулась я домой в страшном смятении.

А дома были мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца – Ивана Васильевича Емельянова, смерть моего второго мужа – Александра Петровича Виноградова – на моих руках в больнице.



Было уже мамино неожиданное трехлетнее тюремное заключение (что-то кому-то сказала о Сталине). Было много увлечений и разочарований.

И все это теперь, вероятно, было нужно для того, чтобы ясней осознать единственно важное и непреложное на свете: вот пришел живым и реальным волшебник из далеких шестнадцати лет.

### ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ

*В* мои юные годы Пастернаком влюбленно увлекались мои сокурсники и современники. И первого Пастернака принес мне в дом Николай Холмин, моя первая студенческая любовь. Не однажды бродила я по весенним дорогам, повторяя завораживающие слова, еще не полностью доходящие и объяснимые.

Полузакрыв синие глаза, встряхивая нарочито есенинскими, золотистыми волосами, Холмин читал мне стихи из сборников «Сестра моя жизнь» и «Поверх барьеров». Мне казалось — бредит чужим удивительным бредом! И осталось с тех пор в памяти поразившее трагическое признание странника в ночи:

Не тот этот город и полночь не та,  
И ты заблудился, ее вестовой!

Я тогда не смела сказать, что половины не понимаю, и как очарованная смотрела в рот Холмину. Но то, что звучали слова Бога, всеильного «бога деталей», всеильного «бога любви» – чутьем я поняла с тех пор.

Потом была первая поездка на юг, к моему первому морю. Холмин, провожая меня, сунул мне книжку пастернаковской прозы в виде лиловой шершавой удлиненной школьной тетради. Это было «Детство Люверс». Лежа на верхней полке, опять упорно искала ключи к необычному: как мужчина мог так проникнуть в тайный девичий мир?

Приехав в сочинский санаторий, я с этой удивительной книгой часто оставалась наедине.

Облака пастернаковской прозы

Как урок у меня на столе...

писалось тогда в глупых девичьих стихах. Я и сейчас не понимаю, как еще девчонкой могла так желать погрузиться в омут этого неимоверно сложного новаторства. Так и тянуло.

С юности увлекавшаяся Гумилевым, тогда я отнесла к Пастернаку покорившую меня строку: «Высокое косноязычье тебе даруется, поэт...» Потом я убедилась, что Борис Леонидович очень сердился, когда его упрекали за мнимую невозможность расшифровать труднейшие поэтические иероглифы, относя их к «косноязычью».

Не почувствовать тайной их ясности и связи мог либо поэтически глухой, либо взнузданный литературными традициями, которому не по силам отпереть своим ключом замкнутые

на первый взгляд образы и метафоры. А не удалось отпереть – не взыщи и не пиши от бессилия клеветнических статей.

Меня, как и многих других, завораживала неоткрытая, еще недоступная мне тайна неведомого. Конечно, разгадке поэтических образов часто мешала неподготовленность, именно та же приверженность к литературным традициям, но отгадка уже висела в воздухе: весна – через узелок с бельем «у выписавшегося из больницы». Налепленные на весенние ветви огарки не обязательно было называть почками! И безгубый лист, вестовой осени, и свайная постройка сада, держащая небо пред собой... – все удивительно ясно!



*Вид из окна комнаты Ивинской  
в Потаповском переулке*

Да, это было и шаманство, и чудо, и, может быть, именно великому поэту даруемое «косноязычье». Понималось, что за закрытой дверью лично тобой будет открыто еще не познанное, пока еще скрытое от тебя. Руки еще робки и слабы, чтобы принять великие дары, но связь между Великим Дарителем и робко принимающим подарок – уже была.

В маленькой моей комнатке на Потаповском шла первая подготовка к восприятию прекрасных сложностей. Потом они распались на удивительно точные и простые откровения...

## БОГ НЕПРИКАЯННЫЙ

**В**озвращаюсь к знаменательному для меня сорок шестому году. На следующий день после встречи с богом в редакции я позднее обычного вернулась с заседания редколлегии в нашу общую красную комнату. Зинаида Николаевна Пиддубная, сидящая на своем секретарском стуле у входа, сказала:

– Здесь поклонник ваш приходил, посмотрите, что он вам принес.

На столе лежал сверток в газетной бумаге: пять небольших книжечек со стихами и переводами.

А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь встреч с ним и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: «Сегодня я занята». Но почти еже-

дневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.

– Хотите, я подарю вам эту площадь? Не хотите? – Я хотела.

Однажды он позвонил в редакцию и сказал:

– Вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например, соседей, что ли, мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером.

Пришлось дать ему телефон Ольги Николаевны Волковой, живущей в нашем подъезде этажом ниже. Раньше я никогда себе этого не позволяла.

И вот вечером раздавался стук по трубам водяного отопления – я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольги Николаевны.

Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. С лукавинкой, будто невзначай, он повторял: «Не смотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез...»

А сейчас он, оказалось, переживает заново давнюю историю, когда пришлось ему подрабатывать репетитором у некой мадемуазель В. Эта история запечатлена в «Охранной грамоте». Чем-то я напоминала ему его первую любимую.

Это ее всю «от гребенок до ног» он «знал назубок, как драму Шекспирову». Она ему отказала. И ее отказ заставил моего любимого воскликнуть, рыдая:

(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты...

О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

– Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь плакали обо мне. Но наша встреча не пройдет даром ни для вас, ни для меня.

Придя домой, я написала Б.Л. стихи:

Я ресницы едва разлепила  
Полузрячей от первого дня,  
А она уж – тебя не любила,  
Разделяя тебя и меня...

Провода натянулись как струны,  
И опять над тобою и мной  
Как гроза пронеслась твоя юность  
Над теряющей Бога страной...

Разговоры наши во время длинных прогулок через пол-Москвы были сумбурны, и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было «выговариваться», и едва я успевала прийти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я сломя голову опять мчалась вниз, к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед.

Вскоре мне в «Новый мир» позвонил незнакомый женский голос, молодой и милый. Это звонила по поручению Бориса Леонидовича Люся Попова (Ольга Ильинична Святловская. – *И.Е.*). Вскоре она ко мне пришла домой. Миниатюрная белокурая куколка с лицом леонардовского ангела. Это была студентка актерского факультета Института театрального искусства, ставшая впоследствии художницей. Однажды после вечера в Политехническом музее она дождалась Пастернака у

выхода и подошла к нему, чтобы познакомиться. Но так растерялась и так испугалась своей собственной смелости, что начала лепетать что-то совсем нечленораздельное. Б.Л. представил ей своего сына и с подбадривающей улыбкой (будто не она не может связать двух слов, а он) сказал: «Я устал и не сумею вам ни на что ответить, извините меня. Вот мой телефон, вы мне позвоните, мы встретимся и поговорим. Всего вам хорошего». И даже когда отошел, то обернулся и сказал: «Обязательно позвоните, лучше всего в среду...»

И вот впоследствии Люся рассказала историю своего звонка ко мне:

«Однажды я получила от Б.Л. открытку: приезжайте, писал он, мне очень нужно вас повидать.

Я приехала. У него было лицо именинника.

– Вы знаете, Люся, – сказал он, сияя, – я полюбил.

– Что же теперь будет с вашей жизнью, Борис Леонидович? – сказала я, представив себе лицо Зинаиды Николаевны.

– Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? – отвечал он. – А она такая очаровательная, она такая светлая, она такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце, это так хорошо, так хорошо. Не думал, что я еще узнаю такую радость. Она работает в “Новом мире”. Я очень хочу, чтобы вы ей позвонили и повидались с ней.

– Конечно, мы познакомимся, – отвечала я сияющему Борису Леонидовичу.

И я позвонила в “Новый мир”.

## Содержание

«А может, я лишь почва для романа?»

*Об авторе этих воспоминаний / 5*

### Часть I

#### **Ольга Ивинская. В плену времени / 29**

Пушкинская площадь / 31

Так начинают жить стихом / 41

Бог неприкаянный / 44

«Жизнь моя, ангел мой...» / 48

«И манит страсть к разрывам» / 57

Наша лавочка / 66

Наше «хозяйство» / 80

Переделкинская осень / 92

Чудак / 99

День ареста / 111

«За бессмертного Сталина» / 116

Петрунькина жена / 120

У министра на допросе / 123

Вот ваш скромный следователь / 128

Свидание / 134

Пастернак и Лубянка / 141

Журавли над Потьмой / 145

Письма / 154

«Душа моя, печальница...» / 161



«Культ личности лишен величия...»	/ 167
«Мальчики и девочки»	/ 176
Роковой день	/ 186
Все испугались	/ 193
Верстка	/ 201
Наш или чужой?	/ 208
Нобелевская премия	/ 216
С петлей у горла	/ 226
К Никите Сергеевичу	/ 239
«По кошачьим и лисьим следам...»	/ 249
Вождь на проводе	/ 256
Свет повседневности	/ 269
«Друзья, родные – милый хлам...»	/ 280
«Слепая красавица»	/ 287
Последнее свидание	/ 294
«Я кончился, а ты жива...»	/ 304
«Несли не хоронить, несли короновать...»	/ 308
И снова я всех виноватей	/ 321
Суд и пересуды	/ 342
В бедламе нелюдей	/ 347

## Часть II

**Ирина Емельянова. Легенды Потаповского переулка / 351**

*Примечания / 548*

Мемуары

**Ивинская Ольга Всеволодовна,  
Емельянова Ирина Ивановна**

**«Свеча горела...»  
Годы с Борисом Пастернаком**

Редактор И.В. Кулюкина  
Художественное оформление и верстка: А.А. Архутик  
Корректоры О.В. Круподер, В.А. Нэй  
Обработка фотографий: А.П. Зарубин  
Технический редактор И.К. Лобан

Подписано в печать 15.06.2016  
Формат 70х90/16 Гарнитура Georgia  
Печать офсетная  
Печ. л. 35.  
Заказ №

ООО «Издательство «Этерна»  
115477, Москва, Кантемировская ул., д. 59а  
Тел. / факс (495) 755-81-23  
E-mail : info@eterna-izdat.ru  
www.eterna-izdat.ru